

Анастасия Астафьева

Карточки

— Алёша, Алёша, я должна перед тобой покаяться, — сбивчиво и задышливо проговорила Нина Петровна.

Седой, грузный Алёша, Алексей Иванович, присел на краешек дивана, на котором лежала мать. Он тихонечко взял её высохшую, невесомую руку в свою большую ладонь и погладил.

— Ну что ты, мама, в чём тебе каяться? Ты у меня святая.

— Святая... — глухо повторила за ним Нина Петровна. — Ты так всю жизнь обо мне и думаешь. А я вовсе не святая! — выкрикнула она вдруг скрипуче. — И ты должен выслушать меня! Потому что мне совсем немного осталось.

Алексей Иванович почувствовал, как забила в нервной дрожи её рука, которую он всё ещё нежно поглаживал, увидел, как лихорадочно заблестели давно мутные глаза матери.

— Тихо. Тихо, мама, успокойся. Исповедуются попу, а я... я, наверное, не готов знать о тебе что-то такое... Хочется, чтобы ты для меня осталась той, какую я всегда знал, — добрая, заботливая, весёлая. Что ты там такого могла совершить? Никогда не поверю.

— Ты не понимаешь... — мать отвернула лицо к стене. — Хотя... может быть, тебе и в самом деле знать не нужно. Это ведь было моё решение. И грех мой. А теперь я вроде как тебе его передать хочу... Ладно, Алёша. Иди. Я посплю.

— Давай я отцу Валерию позвоню, чтобы пришёл утром, соборовал тебя, — осторожно предложил сын.

— Как хочешь, — равнодушно махнула на него рукой мать и затихла.

Алексей Иванович погасил верхний свет, оставив гореть ночник, и вышел из комнаты. Дверь он прикрыл неплотно, и Нина Петровна слышала, как сын звонил приходскому священнику, договаривался о посещении умирающей.

Нине Петровне шёл девяносто первый год. Она, по счастью, дожила до столь преклонных лет в полном уме и здравии, возможном для глубокой старухи. Но в последнее время особенно заметно стала слабеть, таять и вот уже около месяца как слегла. Все понимали: Нина Петровна уже не встанет.

Сыну Алёше было семьдесят, ухаживать за лежачей больной ему было непросто, помогала внучка. Но Алексей Иванович трепетно относился к матери: подолгу сидел рядом, разговаривал, читал вслух, приносил попить, кормил кашей, следил за приёмом лекарств.

Помощь внучки требовалась, только когда Нину Петровну необходимо было вымыть, переодеть, перестелить ей постель. Тогда они вдвоём не слишком ловко ворочали костяное тело старухи, и та, постанывая, видела, как Алёша морщится, и думала, что он брезгует её дряхлостью, старческими запахами. Но Алексей Иванович страдал вовсе не от этого — он старался не заплакать, видя неспособность матери, и потому морщил нос и громко отфыркивался от щекочущих переносицу близких слёз.

Оставшись одна, Нина Петровна иногда откидывала одеяло, смотрела на скрытые под сорочкой свои дряхлые мощи, на иссохшие ноги с крупными, разбитыми коленными суставами и несоразмерно длинными ступнями с искривлёнными пальцами; подносила к лицу руки с истончившейся до прозрачности кожей, подолгу рассматривала их, изуродованные работой, с потрескавшимися ногтями, словно не узнавая. И навязчиво думала, что вот точно такой — жёлто-серой, высохшей, почти трупом она была *тогда*. Шестьдесят семь лет назад...



Нина разлепила спёкшиеся гноем веки и долго лежала без движения в глухой холодной темноте, вспоминая, кто она, где и зачем, почему придавлена чем-то одновременно тяжёлым и мягким, похожим на сугроб, и отчего никаких звуков вокруг не слышно, кроме навязчиво и ровно тикающего механизма будильника. Вспомнив, она сразу же двинула рукой вправо, к стене, боязливо нащупала маленькую ножку в валенке и шерстяном чулке. Рука поднялась выше, проползла по свалывшемуся меху кроличьей шубейки и скорее — к голове, к лицу ребёнка. Тёплый. Нина выбралась из-под тяжести матраса и нескольких одеял, накрывавших их с Алёшей, оставляя нору, в которой продолжал спать сын. Оправила на себе одежду, перевязала платок.

Дневной свет проникал сквозь щели заколоченного чем ни попадя окна. Нина медленно подошла к нему, нащупала острый гвоздик в нижнем левом углу рамы, осторожно открепил кончик скатерти и, приподняв его, зажмурилась от рези в глазах. Минуту, а то и дольше привыкала к свету, а когда привыкла, равнодушно оглядела скупо освещённую комнату. Всё здесь было по-прежнему: голые стены, с которых содраны даже обои, грязный неровный пол с островками не сожжённого в буржуйке паркета, остатки разломанного на дрова шифоньера в углу, остывшая железная печка, рядом с ней — два деревянных ящика, повезло раздобыть, но жечь их Нина не торопилась — они служили стулом и столом. Тут же на полу стояло гнущее ведро, на дне которого замёрзли остатки воды, не больше трети. На одном из ящиков теснились две алюминиевые кружки, такая же миска, эмалированный ковш, оплавившаяся свеча в консервной банке. Ещё повсюду были разбросаны книги — Нина постепенно жгла их в буржуйке, но жалела больше паркета и мебели и старалась, по крайней мере, прочитывать, прежде чем кинуть в огонь. И всё равно каждый раз внутри её изголодавшегося тела что-то больно сжималось, будто не страницы книги съедало пламя, а кусочек её собственной плоти.

Нина снова подошла к норе, устроенной на железной кровати, приоткрыла уголок одеяла над лицом Алёши. Трёхлетний мальчик уже не спал. Он тихо лежал и смотрел остановившимся взглядом куда-то сквозь потолок.

Нина провела ладонью по его худенькому личику. Позвала. Алёша перевёл взгляд на мать, но остался таким же безучастным.

— Сыночек... сынок... — снова позвала его Нина. Голос её был хриплым, надтреснутым. — Вставай, сынок. Маме нужно за хлебом.

Алёша зашевелился. Она скатала комкастый матрас, отодвинула его к спинке кровати, помогла мальчику выбраться, усадила, подоткнула вокруг одеяло. Ребёнок обессиленно прикрыл веки, но мать растормошила его.

— Потерпи, не спи. Я скоро хлебушка принесу.

— Хлебушка... — едва слышно произнесли бескровные губы мальчика.

Нина положила руку на лёд в ведре и влажной ладонью обмыла лицо Алёши, протёрла ему глаза. Подняла с полу упавшего плюшевого мишку и дала сыну:

— Ждите вместе, и вам будет не страшно.

Можно было бы затопить печку, отколоть льда, растопить его в алюминиевой кружке и дать ребёнку горячего кипятка, но Нина боялась опоздать за хлебом — долго они сегодня проспали.

Она взяла с подоконника большой, вышитый мелкими цветочками кошелёк, раскрыла его, удостоверилась, что карточки на хлеб на месте,

и вышла из комнаты. Нина слышала, как Алёша вслед ей тихонечко захныкал, но возвращаться не стала. Он всегда так провожал её, и задержись она, пожалей его, ничего бы не изменилось: всякий раз, когда мать покидала комнату — хоть на минуту, хоть на полдня, ребёнок страдал. Он уже давно не плакал полноценно, его истощённый организм не мог тратить силы на слёзы, только хныкал вот так — хриловато, тоненько. А раньше, в мирное и сытое время, до блокады, Алёша умел рыдать громко, продолжительно, и тогда по розовым щёчкам его текли круглые, с крупный горох, солёные капли. Очень солёные — Нина помнила их вкус, потому что всегда утешала сына поцелуями, смешанными со счастливым материнским смехом. А потом они обнимались, просили друг у друга прощения, Алёша всхлипывал, слёзы высыхали, и все были счастливы...

Нина прошла тёмным коридором, по привычке протягивая впереди себя руки. Вот пальцы упёрлись во входную дверь. Она была не заперта и легко распахнулась.

На занесённых снегом лестничных площадках завывал ветер. В пустые оконные проёмы видны были развалины соседнего дома. Нина осторожно спускалась по обледенелым ступеням, крепко держась за пронзительно холодные металлические перила, с которых давно кем-то был снят деревянный поручень: его, как и разломанные оконные рамы, и разбитые двери парадной, сожгли в буржуйках немногочисленные соседи. Ей тоже иногда удавалось притащить домой обломки досок с развалин, а однажды она даже принесла куски выкрашенной золотой краской рамы для картины. Алёша заинтересованно разглядывал их, водил пальчиком по резьбе и не хотел, чтобы мама кидала такую красоту в прожорливый огонь печки.

Немногочисленные соседи... Нина точно знала, что в их парадной остались несколько семей: на втором этаже, на четвёртом и они с Алёшей и соседкой тётей Тасей на пятом. Они не успели эвакуироваться. Поначалу просто никто не верил, что возможна блокада, потом разные слухи ходили: что не стоит торопиться, что выезжать не менее опасно, чем оставаться, — машины, эшелоны бомбят, что кормить эвакуированных тоже нечем и люди умирают на пересылках, в дороге, что блокаду скоро прорвут... Нина не знала, кого слушать, писала мужу на фронт, советовалась, но пока ждала ответа от него, бежать стало поздно. Наступил октябрь, потом ноябрь, голод, морозы. И вот — декабрь 1941 года. Все запасы давно приедены, хлеба по карточкам выдают минимум. У Саниных, что на втором, отец ещё летом ушёл в ополчение и пропал без вести. В октябре у них умерла младшая девочка, потом дед. Через месяц — старшая дочка. Остались мать и бабка. Но и их Нина не видела в очереди за хлебом уже несколько дней...

На четвёртом этаже одна из двух оставшихся семей вымерла полностью, а в другой — мать и сын-подросток Кирилловы, похоронив своих стариков, пошли работать на завод, получают рабочий паёк, домой почти не приходят — спят прямо у станка. Соседка тётя Тася умерла в конце октября. Писем от мужа нет. Сын в последние дни слаб и ко всему равнодушен. Нина слышала и видела у других, что вот такая безучастность, полная апатия — это последнее состояние человека перед смертью. Алёша может умереть. И вот она бредёт по улице, навстречу сбивающему с ног ветру, и думает об этом ровно и спокойно. Неужели она — плохая мать, чудовище, которое не трогает даже голодный плач ребёнка? Но что ещё можно сделать? Она варила суп из обоев, пока хоть что-то оставалось на стенах. Это замечательно, что поклеены те были на мучной клейстер! Она порезала на мелкие кусочки свои кожаные босоножки и размачивала, вываривала их в кипятке. Они с Алёшей подолгу сосали эти кусочки, и потом обоих тошнило. Они грызли угольки из печки, она пробовала заваривать опилки как чай, Алёша ест землю из цветочных горшков, а Нина думает, нельзя ли сварить похлёбку из олифы — нашла полбутылки в комнате тёти Таси...

Неделю назад встретились у парадной с матерью Кирилловых, и та обещала поговорить, чтобы её взяли на завод, но Нина понимала, что и сама уже настолько ослабла от голода, что вряд ли сможет работать. Да и Алёшу оставить не на кого, брать его с собой на производство никто не разрешит, а она не сможет каждый день ходить по занесённым снегом тёмным улицам два часа до завода и обратно. Остаётся лечь, обнять сына и уснуть вместе навсегда. Но хлеб... Хлеб! Сейчас ей нужно дойти до булочной на углу четырнадцатой линии. Она получит сто двадцать пять граммов на себя и сто двадцать пять на сына. Вместе — это целых двести пятьдесят граммов! Можно часть пайка есть по крошечке, рассасывать медленно во рту, а часть развести горячим кипятком и посолить — соль у них ещё осталась — получится аппетитная и сытная тюря, которую они станут есть ложкой. Нине даже показалось, что она чувствует аромат запаренного кипятком хлеба, и у неё закружилась голова. Пошатнувшись, она оперлась рукой о стену дома, постояла немного с закрытыми глазами, а когда открыла — увидела хвост очереди. Идти осталось совсем немного.

Она встала в конце длинной и молчаливой вереницы людей, за маленькой сгорбленной старушкой, плотно укутанной шерстяным платком по самые глаза. Впрочем, голод и непреходящий ужас старят людей за считанные недели, и, возможно, маленькая женщина впереди вовсе не старушка, и сгорбленность её — всего лишь последствие дистрофии. Но долго думать об этом Нина не

могла — очередь двигалась медленно, и она впала в полусонное забытё, в особый режим экономии энергии, когда от человека не требуется ни умственных, ни физических усилий, лишь терпение и умение ждать. Ещё важно было не упасть. Такое иногда случалось. Упавшего всем миром поднимали, усаживали в сугроб, и чаще всего он там и оставался, не доживший до своих спасительных ста двадцати пяти граммов несколько минут, не переждавший двух-трёх человек...

Старушка впереди кашляла. Нина видела, как от надсадных вдохов ходят её узкие плечики под истончившейся тканью пальто, слышала, как свистят её лёгкие после того, как приступ отпустил. Равнодушно думалось, что жить старушке осталось немного, что если это туберкулёз, то ей, Нине, нужно бы отойти подальше, но тогда она потеряет своё место в очереди, поэтому она лишь плотнее прикрывала нос и рот варежкой, стараясь дышать не слишком глубоко. Да и морозный воздух и мышечная слабость не давали вдохнуть в полную силу. Все в этой очереди дышали поверхностно, тяжело и почти безжизненно.

Прошёл час, не меньше, прежде чем Нина увидела, как хлеборезка положила на весы тоненький кусочек хлеба. У этой суровой женщины такой наметанный глаз, что она отрезает точь-в-точь и не каждому достаётся крохотный довесок. А ведь все мечтают об этом самом довеске, как будто он не входит в эти жалкие сто двадцать пять граммов, а выдаётся сверх того, дополнительно. Этот довесок все сразу кладут в рот и, посасывая его, бредут домой. Но Нина никогда не съедала довесок сама, она его прибавляла к Алёшину пайку. И получался у неё один большой кусок, а у сына большой и два маленьких. Это было его вечернее «лакомство». Нина давала ему эти два довеска перед сном. Роняла на чёрный липкий кусочек несколько крупинок соли и пихала в раскритый клювик сына. Губы ребёнка были обмётаны простудой, все в трещинах, соль попадала в ранки, Алёша морщился и терпел. А если получалось, то даже улыбался в ответ как-то неловко и кривовато.

Хотелось ли Нине самой съесть эти кусочки? Всегда! Поэтому она мгновенно заворачивала полученный паёк в отдельные тряпочки — для себя без довеска и для Алёши с двумя довесками. Тряпочки были одинаковые, но она всегда отлично знала, где хлеба больше, и рука тянулась именно туда. Поэтому дома она поскорее прятала два кусочка для Алёши в отдельную жестяную баночку с крышечкой, а другой хлеб делила поровну на день.

Старушка тоже получила два пайка: один целым куском и второй — с довеском. Она стянула с руки прожжённую варежку, схватила тонкими грязными пальцами крохотный хлебный квадратик и кинула его в рот, потом сграбастала оставшийся хлеб

и тут же спрятала куда-то за пазуху. Хлеборезка протянула ей карточки. Их старушка тоже взяла грубо, почти выхватила из рук женщины и тоже стала прятать под пальто, куда-то внутрь себя, словно там был какой-то бездонный и очень надёжный карман.

Нина нетерпеливо шагнула к окошку, протянула хлеборезке карточки. Старушка зыркнула на неё и побрела прочь. Что-то знакомое было в этом недобром взгляде, но мысли Нины были заняты хлебом, а глаза внимательно следили за руками женщины, бережно кладущими на весы спасительные граммы. Она получила паёк, поспешно спрятала его, прибрала карточки и двинулась к дому.

Впереди медленно шла та же старушка, и хотя Нина видела только её спину, по движениям угадывала, что она то и дело запускает руку за пазуху, отщипывает по крошке хлеб и ест его. Они обе свернули за угол и пошли по Среднему проспекту. Нине отчего-то было очень неприятно смотреть вслед этой старой женщине, она всё чаще опускала глаза, тем более что по нечищеному тротуару идти было непросто. А ведь важно не упасть!

И тут она увидела на тропочке свёрнутые хлебные карточки. Молниеносно наклонилась, схватила их, спрятала в карман и застыла. Оглянувшись в ужасе: не видел ли кто? Но людей на улице было немного, и каждый был занят собой.

Нина взглянула вперёд — старушка исчезла, наверное, свернула в арку дома. Это были её карточки. Никакого сомнения. Она так небрежно засунула их внутрь своего пальто и, видимо, такая из-за пазухи хлеб, не заметила, как выронила. Догнать? Отдать? Нина не двигалась. Её задели. Мимо прошёл человек. А ведь старушка умрёт... без этих карточек, без хлеба. И тот, второй человек, на которого она получила паёк, тоже умрёт. Зато не умрёт Алёша!

У Нины потемнело в глазах. Эти карточки — их спасение. Если сложить свой и чужой хлеб — это же целые полкило в день! Это — долгая жизнь для неё и Алёши! Голова закружилась. Нина начала проваливаться куда-то, но её подхватили, не дали упасть. Она слабо улыбнулась в ответ военному, который, всё ещё поддерживая, участливо заглянул ей в глаза. Удостоверившись, что женщина пришла в себя, офицер козырнул и пошагал дальше. Нина подхватила из сугроба пригоршню снега, обтёрла лицо и увереннее пошла к своему дому.

Алёша всё так же безучастно сидел на кровати, пальцы его бесчувственно сжимали плюшевого мишку. Нина — откуда силы взялись? — выхватила его из кокона одеял, принялась осыпать холодное личико сына поцелуями. Сунула ему в ротик сразу оба довеска. Растопила буржуйку, отколола льда, кинула его в кружки, поставила оттаивать.

И только когда напоила сына подсоленным кипятком, когда напилась сама и на радостях съела

сразу полкуска своего хлеба, Нина воровато достала из кармана пальто *чужие карточки*. Подошла к окну, развернула их...

Она потом думала, что не надо было читать. Молча протягивать их хлеборезке и получать положенные граммы. Впрочем, в свою булочную она, конечно, с этими карточками не пойдёт. Внимательная и дотошная хлеборезка обязательно спросит, почему Нина получает *чужой хлеб*. И она, конечно, оправдается тем, что ослабевшие соседи попросили сходить. И хлеборезка поверит: надо ей вникать в чьи-то беды... Но всё равно Нине будет очень стыдно. Или не будет?

В карточки были написаны имена: Санина Евдокия Матвеевна и Санина Катерина Сергеевна. Это были их соседи со второго этажа. И согбенная старушка эта — была Катя Санина. Она старше Нины лет на пять, не больше! Не зря подумалось в очереди о том, как голод старит и уродует человека, не зря узнался тот брошенный в неё злой взгляд...

Карточки нужно было вернуть. Господи, ну почему это была не просто *какая-то случайная старуха*?! Ведь если умрёт кто-то где-то незнакомый — это одно. Мало ли сейчас погибает людей. Но Санины — они не просто умрут, и в их смерти будет виновата она, Нина. Но если умрёт Алёша — виновата тоже будет она...

Так она промучилась до ночи. Лежала на кровати рядом с сыном молча и недвижно. Даже в бомбоубежище они не стали спускаться. А бомбили где-то рядом. Содрогались стены дома, кровать дрожала под ними...

А ночью, когда Алёша уже уснул, Нина спустилась на второй этаж, долго стояла под дверью квартиры Саниных, прислушивалась: вдруг *их уже нет* и карточки можно оставить себе? Но услышала надсадный кашель и сунула карточки в почтовый ящик.

Нина открыла глаза и сразу поняла, что куда не ходила. Это во сне она, мучаясь, раз за разом спускалась на второй этаж и возвращала спасительные листочки с прописанными в них датами и граммами. То совала их в почтовый ящик, то отдавала лично в руки Кате, то Евдокии Матвеевне, то проходила в квартиру Саниных, где было пусто, темно, гулял ветер, и становилось понятно, что никого живого здесь нет, но Нина всё равно клала карточки на стол и уходила...

Сейчас, вернувшись в реальность, она поняла, что ни за что их не отдаст. Потому что мать Кати, Евдокия Матвеевна, конечно, уже умерла, лежит, окоченевшая, в комнате, за закрытой дверью, а сумасшедшая её дочь получает и съедает двойную норму хлеба. Но Катя всё равно не выживет — её кашель... с таким не живут.

Поэтому сейчас Нина встанет, возьмёт свои и чужие карточки, пойдёт сначала в свою булочную

и получит полагающийся им с Алёшей хлеб, а затем отправится на Малый проспект за хлебом Саниных. И примет его от незнакомой хлеборезки недрогнувшей рукой. Алёша должен жить!



Отец Валерий положил на голову умирающей епитрахиль, вполголоса прочитал положенные молитвы. Погасил свечи, убрал в портфель Библию, железный крест и другие необходимые для свершения обряда предметы, а потом, отведя Алексея Ивановича в сторону, что-то тихонько и наставительно ему говорил.

Нина Петровна была в забытьи, душа её, стремящаяся отделиться от тела, ещё удерживалась якорем тяжкого греха на печальной земле нашей. Но вот Нина Петровна встала, в одной сорочке прошла по тёмному коридору квартиры,

протягивая впереди себя руки, толкнула входную дверь, вышла на лестничную площадку, крепко держась за деревянный поручень, медленно спустилась с пятого этажа на второй, подошла к квартире Саниных. В правой руке она держала хлебные карточки и уже хотела положить их в почтовый ящик и поскорее уйти, но тут услышала шаги, обернулась и увидела, как с первого этажа поднимаются дочь и мать Санины. Они улыбались. Евдокия Матвеевна поздоровалась с Ниной, а та, онемевшая, ничего не смогла сказать в ответ. Катя подошла к двери, увидела в руках соседки свои карточки, посмотрела ей прямо в глаза и чётко сказала: «Оставь себе. Они вам нужнее...»

Нина Петровна судорожно вдохнула, всхлинула...

Дальше был свет. Сплошной свет.